

Посвящается Симоне

Мы упорно ищем вечное где-то вдали; мы упорно обращаем внутренний взор не на то, что перед нами сейчас и что сейчас явно; или же ждем смерти, словно мы не умираем и не возрождаемся всякий миг. В каждое мгновение нам даруется новая жизнь. Сегодня, сейчас, сию минуту — вот единственное, чем мы располагаем.

Ален¹

Часть первая

Одилия

I

Мой внезапный отъезд, вероятно, удивил Вас. Я прошу за него прощения, но не раскаиваюсь в нем. Не знаю, слышите ли Вы, подобно мне, ту внутреннюю музыку, которая поднимается, словно ураган, и бушует в моей душе, как буйное пламя Тристана². Ах, как хотелось бы мне отдаться тому волнению, что еще третьего дня, в лесу, бросило меня к Вашим ногам, к Вашему белому платью. Но я боюсь любви, Изабелла, и боюсь самого себя. Не знаю, что именно Ренэ, что другие рассказали Вам о моей жизни. Мы с Вами иногда говорили о ней; но я не сказал Вам правду. Прелесть новых встреч в том и состоит, что мы надеемся преобразить в глазах незнакомых людей наше прошлое, которое должно было быть совсем иным, — преобразить, опровергнув его. Наша с Вами дружба уже переросла пору одних только лестных признаний. Мужчины обнажают свою душу, как женщины — тело, постепенно и лишь после упорной борьбы. Я бросил в сражение один за другим все свои последние тайные резервы. Истинные мои воспоминания, укрывшиеся в крепости, осаждены и готовы сдаться и выйти на свет божий.

Теперь я вдали от Вас, я в той самой комнате, где прошло мое детство. На стене — этажерка с книгами, которые моя мать уже больше двадцати лет бережет, как она говорит, «для своего старшего внука». Будут ли у меня сыновья? Вот эта книга с широким красным корешком, закапанная чернилами, — мой старый греческий словарь, а эти, в золоченых переплетах, — мои школьные награды. Мне хотелось бы рассказать Вам, Изабелла, всю мою жизнь, начиная с той поры, когда я был ласковым мальчуганом, до того времени, когда я стал циничным юношей, потом мужчиной — оскорбленным, несчастным. Я хотел бы все рассказать Вам — простодушно, правдиво, смиренно. Но если я и доведу этот рассказ до конца, у меня, быть может, не хватит мужества показать его Вам. Что ж! Подвести итог жизни небесполезно, хотя бы и для самого себя.

Помните, однажды вечером, возвращаясь из Сен-Жермен³, я описал Вам Гандюмас? Это край прекрасный и печальный. В дикой долине мчится бурный поток, огибая ряд строений; это наши фабрики. Наш дом — небольшой замок XVI века, каких немало в Лимузене, — высится над песчаной равниной, поросшей вереском. Еще совсем ребенком я испытал чувство гордости, осознав, что я — Марсена и что наше семейство занимает в округе господствующее положение. Крошечный бумажный заводик, который моему деду с материнской стороны служил всего лишь лабораторией, благодаря энергии моего отца превратился в большую фабрику. Отец выкупил хутора, находившиеся в аренде, и Гандю-

мас, земли которого до той поры почти не обрабатывались, стал образцовым поместьем. В детстве я был свидетелем того, как у нас непрерывно возводились все новые и новые здания и расширялся амбар для древесины, построенный вдоль потока.

Семья моей матери — родом из Лимузена. Мой прадед, нотариус, купил замок Гандюмас, когда его пустили в продажу как национальное имущество⁴. Отец, инженер из Лотарингии, поселился здесь только после женитьбы. Он вызвал к себе одного из своих братьев, дядю Пьера, и тот обосновался в соседнем селе — Шардейле. По воскресеньям, в хорошую погоду, наши семьи встречались у Сент-Ирьекских прудов. Мы отправлялись туда в экипаже. Я сидел на узенькой жесткой откидной скамеечке напротив родителей. Монотонный бег лошади навел на меня сон; от скуки я наблюдал за ее тенью, которая то сжималась, то уходила вперед, обгоняя нас, то оказывалась позади на поворотах — в зависимости от того, пробегала ли она по стенам деревенских домиков или по откосам, тянувшимся вдоль дороги. Временами нас обволакивал, словно облако, запах навоза, и я замечал вокруг себя больших навозных мух; этот запах до сих пор хранится в моей памяти; как и звуки церковного колокола, он связан у меня с представлением о воскресном дне. Я терпеть не мог косогоров, — тут лошади переходили на шаг, и сколько ни щелкал старик-кучер и языком и бичом, коляска двигалась невыносимо медленно.

На постоялом дворе нас ждали дядя Пьер с женой и кузина Ренэ, их единственная дочь. Мама давала

нам бутерброды, а отец говорил: «Идите играйте». Мы с Ренэ гуляли под деревьями или по берегам прудов и собирали каштаны и сосновые шишки. Отправляясь в обратный путь, мы брали Ренэ с собою; чтобы ей было где сесть, кучер опускал борта откидной скамеечки. В дороге мои родители всегда молчали.

Разговаривать они не могли из-за крайней застенчивости отца; он не выносил проявления на людях каких-либо чувств. Стоило только маме сказать за столом что-нибудь, касающееся, например, нашего воспитания, или фабрики, или дядей, или тети Корá, которая жила в Париже, как папа пугливым жестом указывал ей на прислуживающего лакея. Мама умолкала. Я еще в детстве заметил, что если папа или дядя хотят упрекнуть в чем-нибудь один другого, то они с великими предосторожностями поручают передать это своим женам. Тогда же я узнал, что отец не терпит откровенностей. У нас считалось, что общепринятые чувства всегда искренни, что родители всегда любят своих детей, дети — родителей, мужа — жен. Марсена принимали мир за благопристойный земной рай, и это было у них, мне кажется, скорее следствием душевной чистоты, чем лицемерия.

II

Залитая солнцем лужайка в Гандюмасе. Ниже, в долине, — село Шардейль, подернутое колеблющимся раскаленным маревом. Мальчуган стоит по пояс в яме, которую он вырыл в куче песка, и, зорко всматриваясь в окружающий широкий пейзаж,

выжидает появления воображаемого неприятеля. Эту игру подсказала мне моя любимая книжка: «Осада крепости» Данри. Притаившись в яме, я изображал канонира Митура; я защищал форт Луивиль, находившийся под командованием старого полковника, ради которого я с радостью пожертвовал бы жизнью.

Простите, что я останавливаюсь на этих ребяческих чувствах, но именно здесь я нахожу первое проявление той жажды беззаветной преданности, которая была одним из главенствующих факторов моего характера, хотя впоследствии она и обращалась на объекты совсем иного рода. Анализируя еле уловимую частицу моей детской души, еще сохранившуюся у меня в памяти, я обнаруживаю в этой жажде самопожертвования некоторый оттенок чувственности. Впрочем, вскоре эта игра видоизменилась. В другой книжке — мне ее подарили к Новому году, и она называлась «Русские солдатики» — я прочел о приключениях нескольких школьников, которые решили создать армию и избрали своей королевой некую курсистку. Королеву звали Аня Соколова. «То была девушка на редкость красивая, стройная, изящная и ловкая». Мне очень нравилась клятва, которую солдаты приносили королеве, подвиги, которые они совершали ей в угоду, и улыбка, служившая им наградой. Не знаю, почему меня так пленял этот рассказ, но он меня пленял, он был мне дорог, и, несомненно, именно благодаря ему в моем воображении сложился тот идеал женщины, который я Вам не раз описывал. Я вижу себя идущим рядом с нею по гандюмасским лужайкам;

она проникновенным, грустным голосом говорит мне какие-то прекрасные слова. Не знаю, в какой именно момент, но я стал называть ее Амазонкой. Зато хорошо знаю, что к радости, которую она даровала мне, всегда примешивалось представление об отваге, о риске. Я очень любил также читать с мамой рассказы о Ланселоте Озерном⁵ и о Дон-Кихоте. Я не мог поверить тому, что Дульсинея дурна собою, и даже вырвал из книги картинку с ее изображением, чтобы ничто не мешало мне представлять ее себе такой, какой мне хочется.

Хотя кузина Ренэ и была на два года моложе меня, мы долго учились с нею наравне. Позже, когда мне исполнилось тринадцать лет, отец определил меня в лицей имени Гей-Люссака в Лиможе. Я жил там у нашего родственника и приезжал домой только по воскресеньям. В лицее мне очень нравилось. Я унаследовал от отца вкус к занятиям и чтению; учился я хорошо. Во мне все сильнее стали сказываться чувство собственного достоинства и застенчивость, свойственные всем Марсена; эти качества были для них так же характерны, как блестящие глаза и несколько приподнятые брови. Единственным противовесом моей гордыни служил образ Королевы, которому я был по-прежнему верен. Вечерами, перед сном, я рассказывал самому себе разные истории, и героиней их неизменно бывала моя Амазонка. Теперь у нее появилось имя — Елена, ибо я был влюблен в гомеровскую Елену, а повинен в этом приключении был наш учитель, господин Байи.

Почему некоторые картины остаются у нас в памяти такими же четкими, как в момент самого виде-

ния, в то время как другие, казалось бы более значительные, быстро тускнеют, а затем и вовсе стираются? Вот и сейчас на некоем внутреннем экране я поразительно четко вижу, как в тот день, когда нам предстояло писать французское сочинение, господин Байи, не торопясь, входит в класс; он вешает на крючок свой пастуший плащ и говорит: «Я подыскал для вас прекрасную тему: Палинодия Стесихора»⁶. Да, я как сейчас вижу господина Байи. У него густые усы, волосы бобриком, лицо со следами бурных и, по-видимому, горестных страстей. Он вынимает из портфеля бумажку и диктует: «Поэт Стесихор проклял в своих стихах Елену, из-за которой греков постигли великие бедствия; в наказание за эту дерзость Венера лишила его зрения. Тогда поэт понял свою ошибку и сочинил палинодию, в которой выражает сожаление о том, что осмелился оскорбить красоту».

С каким удовольствием я перечел бы сейчас восемь страниц, написанных мною в то утро! Мне уже никогда больше не удавалось столь полное слияние сокровенного чувства с написанной фразой, никогда — разве что в двух-трех письмах к Одилии да еще на днях — в письме, которое предназначалось Вам, но не было мною отослано. Тема жертвы, принесенной во имя красоты, рождала во мне такие глубинные отзвуки, что, несмотря на детский возраст, меня охватывал ужас, и я два часа писал с каким-то мучительным пылом, словно предчувствовал, как много оснований окажется и у меня, в моей земной трудной жизни, написать такую же палинодию.

Но я внушил бы Вам совершенно ложное представление о том, что собою представляет душа пятнадцатилетнего школьника, если бы не подчеркнул, что мое воодушевление оставалось сугубо внутренним и глубоко затаенным. В разговорах со сверстниками о женщинах и о любви я был циником. Некоторые из моих товарищей делились своим опытом, не брезгуя грубыми техническими подробностями. Моя Елена воплотилась для меня в лице молодой лиможской дамы, приятельницы родственников, у которых я жил. Ее звали Дениза Обри; она была хороша собою и слыла легкомысленной. Когда при мне упоминали о том, что у нее есть любовники, я вспоминал Дон-Кихота, Ланселота Озерного и мне хотелось с пикой в руке ринуться на клеветников. Когда госпожа Обри приходила к нам обедать, я терял голову от радости и страха. Все, что я говорил при ней, казалось мне нелепым. Я ненавидел ее мужа, владельца фарфорового завода, человека безобидного и благожелательного. Возвращаясь из лица, я всегда надеялся встретить ее на улице. Я заметил, что около двенадцати она часто ходит за цветами или пирожными на улицу Порт-Турни. Я спешил занять к этому времени место у собора, между кондитерской и садоводством. Несколько раз мне удавалось проводить ее до дому, и я шел возле нее со школьным ранцем под мышкой.

С наступлением лета я стал чаще видеть ее за городом, на теннисе. Как-то вечером, в дивную погоду, кое-кто из молодых людей и дам решили тут же и поужинать. Госпожа Обри, отлично знавшая, что я в нее влюблен, предложила мне тоже остаться. Ужин

прошел очень весело. Смеркалось; я лежал на траве, у ног Денизы; рукой я коснулся ее щиколотки; я осторожно обхватил ее, не встретив сопротивления. Неподалеку цвел жасмин, и я еще до сих пор слышу его пряное благоухание. Сквозь ветви мерцали звезды. То был миг полного блаженства.

Когда совсем стемнело, я заметил, что к Денизе кто-то подбирается, и догадался, что это двадцатисемилетний лиможский адвокат, уже успевший приобрести репутацию очень умного человека. Я невольно стал свидетелем их разговора. Он тихонько просил Денизу встретиться с ним в Париже, давал ей адрес; она прошептала: «Перестаньте», однако я понял, что она придет. Я по-прежнему держал ее ногу, и она предоставляла ее мне, счастливая и безразличная; но я почувствовал себя оскорбленным и внезапно вспылал диким презрением к женщинам.

Сейчас передо мной, на столе, лежит моя школьная записная книжка, в которую я заносил названия прочтенных книг. Вижу там: 26 июня, «Д.» — заглавная буква обведена кружком. Под нею я выписал фразу из Барреса: «Не надо придавать особого значения женщинам: надо восторгаться, глядя на них, и дивиться тому, что такой незначительный повод может вызывать у нас столь приятное чувство».

Все лето я ухаживал за девушками. Я узнал, что в темных аллеях можно обнимать их, целовать, наслаждаться близостью девичьего тела. Случай с Денизой Обри, казалось, излечил меня от романтики. Я разработал определенную тактику распутства; оно удавалось настолько безошибочно, что я преисполнялся гордостью и отчаянием.

III

Через год отец, уже давно состоявший членом департаментского совета, был избран сенатором от Верхней Виенны. Наш жизненный уклад изменился. Старшие классы лицея я прошел в Париже. В Гандюмасе мы теперь жили только летом. Было решено, что я подготовлюсь к получению степени лиценциата прав и, прежде чем выбрать карьеру, отбуду воинскую повинность.

Во время каникул я встретился с госпожой Обри — она приехала в Гандюмас с нашими лиможскими родственниками; насколько я понял, она сама напросилась присоединиться к ним. Я предложил показать ей наш парк и с радостью повел ее в беседку, которую называл своей обсерваторией и где в пору, когда был влюблен в нее, не раз проводил целое воскресенье, с утра до вечера предаваясь смутным мечтам. Тесное, поросшее лесом ущелье очень понравилось ей; в глубине его виднелись камни, выступающие из пенящейся воды, и легкие дымки фабрики. Когда она встала со скамьи и высунулась из беседки, чтобы разглядеть мастеров, которые работали вдаль, я положил руку ей на плечо. Она улыбнулась. Я попытался поцеловать ее; она слегка, не сердясь, отстранила меня. Я сказал, что в октябре вернусь в Париж, что у меня собственная квартира на левом берегу, что я буду ждать ее там. «Не знаю, — молвила она, — это не так просто».

В записной книжке, среди заметок, относящихся к зиме 1906/07 года, я нахожу многочисленные упоминания о «свиданиях с Д.». Дениза Обри разочаро-

вала меня. Но я был к ней несправедлив. Она обладала многими достоинствами, мне же почему-то хотелось, чтобы она являлась для меня не только любовницей, но и товарищем по научным занятиям. Она приезжала в Париж, чтобы повидаться со мной, померить платья, шляпки. Это вызывало у меня глубокое презрение. Я жил книгами и не допускал, что можно жить иначе. Она попросила у меня сочинения Жида, Барреса, Клоделя, о которых я ей часто говорил; то, что она сказала, прочитав их, меня покорило. Она была хорошо сложена; как только она уезжала в Лимож, я начинал страстно желать ее. Но стоило мне провести с нею часа два, и мне хотелось умереть, сгинуть или побеседовать с приятелем-мужчиной.

Самыми близкими моими друзьями были Андре Альф, умный, несколько угрюмый еврей, с которым я познакомился на юридическом факультете, и Бертран де Жюссак, мой лиможский товарищ; он поступил в Сен-Сир и на воскресенье приезжал к нам в Париж. В обществе Альфа и Бертрана мне казалось, что я погружаюсь в какую-то более глубокую сферу искренности. На поверхности оставался Филипп, каким он был для родителей, — простое существо, состоящее из нескольких принятых в семье Марсена условностей и из редких поползновений к самостоятельности; затем следовал Филипп Денизы Обри, с приступами чувственности и нежности, на смену которым приходила грубость; потом Филипп Бертрана — смелый и чувствительный; затем Филипп Альфа — решительный и непреклонный, — и я знал, что под ними таится еще

другой Филипп — самый истинный по сравнению с предыдущими, единственный, который мог бы принести мне счастье, если бы мне удалось с ним слиться, — но я не старался даже понять его.

Говорил ли я Вам о комнате, которую я снял в домике на улице Варенн и обставил очень строго, соответственно тогдашним моим вкусам? На голых стенах — маски Паскаля и Бетховена. Странные свидетели моих приключений! Диван, служивший мне ложем, был покрыт грубым серым холстом. На камине стояли бюсты Спинозы и Монтеня и лежало несколько научных книг. Сказывалось ли тут желание удивить посетителя или искреннее стремление к интеллектуальной культуре? Видимо, и то и другое. Я был старателен и неумолим.

Дениза не раз говорила, что моя комната ее пугает и вместе с тем нравится ей. До меня у нее уже было несколько любовников; она всегда властвовала над ними. Ко мне она стала привязываться. Я говорю Вам об этом без гордости. Жизнь учит всех нас, что любят и самых незначительных людей. Нередко нравится человек обездоленный, в то время как самые обольстительные терпят поражение. Дениза гораздо больше дорожила мной, чем я ею; я говорю Вам об этом потому, что так же откровенно расскажу и о других, гораздо более важных эпизодах моей жизни, когда положение бывало совсем иное. В те годы, о которых я сейчас говорю, то есть в возрасте двадцати — двадцати трех лет, меня любили; не могу сказать, чтобы любил и я. По правде говоря,

я не имел ни малейшего представления о том, что такое любовь. Мысль, что из-за любви можно страдать, казалась мне несносно романтической. Бедная Дениза! Вижу ее как сейчас на этом диване; она склоняется надо мной и с тревогой заглядывает в душу, недоступную для нее.

— Любовь? — говорю я ей. — Что такое любовь?

— Вы не знаете, что это такое? Когда-нибудь узнаете. Когда-нибудь и вас скрутит.

Я мимоходом отметил слово «скрутит»; оно показалось мне вульгарным. Ее манера выражаться претила мне. Я ставил ей в упрек, что она говорит не так, как Джульетта или Клелия Конти. Я нетерпеливым жестом опрашивал ее душу, как опрашивают плохо скроенное платье. Я тянул ее туда-сюда, ища недостижимого равновесия. Позже я узнал, что в Лиможе ее стали считать очень умной и что мои старания помогли ей покорить одного из самых взыскательных провинциалов. Ум женщины состоит из напластований, оставленных мужчинами, которые любили ее; точно так же во вкусах мужчины сохраняются наслоенные смутные образы женщин, встреченных им в жизни, и нередко жестокие страдания, причиненные нам одной из них, вызывают любовь к нам другой женщины и становятся причиной ее несчастий.

«М.» — это Мери Грехэм, юная англичанка с глазами, подернутыми тайной; я встретил ее у тети Ко-ра. Надо сказать несколько слов о тете, потому что она будет играть в дальнейшей моей истории заметную, хоть и преходящую роль. Она — сестра моей

матери. Замужем она была за банкиром бароном де Шуэном и почему-то всегда стремилась привлечь в свой дом как можно больше министров, послов и генералов. Начало своему салону она заложила еще в то время, когда была в близких отношениях с одним из видных политических деятелей. Свой успех она эксплуатировала с поразительной последовательностью и упорством, благодаря чему в конце концов и добилась победы. Она принимала в своем особняке на улице Марсо ежедневно с шести часов, а по вторникам давала обед на двадцать четыре персоны. Обеды тети Кора служили одним из весьма редких поводов для шуток в нашей лимузинской семье. Папа утверждал — и, кажется, не без оснований, — что последовательность этих обедов ни разу не прерывалась. Летом обеды переносились на виллу в Трувиле. Мама рассказывала, что, узнав о безнадежном состоянии дяди (у него был рак желудка), она отправилась в Париж, чтобы поддержать сестру; она приехала во вторник вечером и застала Кора за приготовлениями к очередному обеду.

— Как Адриен? — спросила мама.

— Отлично, — ответила тетя Кора. — В его положении лучшего и желать нельзя; но обедать за столом он не сможет.

На другой день, в семь часов утра, лакей сообщил маме по телефону:

— Баронесса с глубоким прискорбием уведомляет, что барон внезапно скончался сегодня ночью.

Приехав в Париж, я не испытывал ни малейшего желания посетить тетю, — отец внушил мне отвращение к светскому обществу. Но когда я познако-

мился с тетей, она мне, пожалуй, даже понравилась. Это была очень добрая женщина, любившая оказывать услуги; общаясь с людьми, занимающими высокое положение в самых различных сферах, она приобрела несколько смутное, но все же подлинное знание движущих пружин общества. Для меня, молодого любознательного провинциала, она служила неисчерпаемым источником всевозможных сведений. Она заметила, что я с удовольствием слушаю ее, и подружилась со мной. Каждый вторник меня приглашали к обеду. Быть может, ей доставляло удовольствие приглашать меня еще и потому, что она знала о неприязненном отношении моих родителей к ее салону и ей лестно было торжествовать над ними, переманив меня на свою сторону.

Среди гостей тети Кора бывали, конечно, и молодые женщины как необходимое украшение салона. Я отважился завоевать некоторых из них. Я ухаживал, не любя; я просто считал это делом чести и хотел убедиться в возможности победы. Помню, с каким невозмутимым спокойствием я усаживался в кресло, как только моя жертва уходила от меня с нежной улыбкой на губах; я брал в руки книгу и без труда гнал ее образ прочь.

Не судите меня строго. Мне кажется, что очень многие молодые люди — если только им не посчастливится сразу же встретить из ряда вон выходящую любовницу или жену — неизбежно приходят к этому надменному эгоизму. Они гонятся за какой-то законченной системой. А женщины инстинктивно знают, что все такие попытки напрасны, и в этих

поисках они следуют за мужчинами лишь из снисходительности. Некоторое время влечение создает какую-то иллюзию, потом в почти что враждебных душах начинает расти непреодолимая скука. Мечтал ли я по-прежнему о Елене Спартанской? Ее образ представлялся мне теперь погруженным в темные воды моей рассудочной стратегии, словно затопленный собор.

Случалось, что в концертах, где я бывал по воскресеньям, я замечал вдали чей-нибудь прелестный профиль, который вызывал во мне странное волнение и напоминал белокурую славянскую королеву детской поры и каштановые рощи Гандюмаса. И в течение всего концерта я нес этому незнакомому профилю неистовые чувства, разбуженные музыкой, и мне несколько мгновений казалось, что, если бы я мог познакомиться с этой женщиной, я в ней наконец обрел бы то совершенное, почти божественное создание, которому я хотел бы посвятить жизнь. Потом свергнутая королева терялась в толпе, я же отправлялся на улицу Варенн к любовнице, которую вовсе не любил.

Теперь мне самому непонятно, как мог я совмещать в себе два столь противоположных персонажа. Они жили в двух различных сферах и никогда не встречались друг с другом. Нежный, жаждущий самопожертвования влюбленный пришел к убеждению, что любимой женщины в реальной жизни нет. Отказываясь отождествлять обожаемый призрачный образ с грубыми куклами из окружающей среды, он искал убежище в книгах и боготворил только госпожу де Морсоф или госпожу де Реналь⁷. А циник тем временем присутствовал на обеде у тети

Кора и обращался к соседке, если она ему нравилась, с веселыми и вольными речами.

После того как я отбыл воинскую повинность, отец предложил мне помогать ему в управлении фабрикой. Контору он теперь перевел в Париж, поближе к клиентам, большим газетам и крупным издательствам. Дело очень интересовало меня, я старался развивать его, но в то же время не переставал посещать лекции и много читать. Зимой я бывал в Гандюмасе раз в месяц, а летом, когда родители переезжали туда, я проводил там несколько недель. Я с удовольствием вновь посещал уединенные уголки природы, знакомые мне с детства. Если дела не требовали моего присутствия на фабрике, я занимался — либо у себя, все в той же комнате, либо в своей маленькой обсерватории над речкой. Время от времени я вставал из-за стола, доходил до конца длинной каштановой аллеи, скорым шагом возвращался обратно и снова принимался за книгу.

Я был рад, что избавлен от молодых женщин, которые в Париже опутали мою жизнь легкой, но непреодолимой сетью свиданий, жалоб и болтовни. Мери Грехэм, — я Вам уже говорил о ней, — была замужем за человеком, с которым я был хорошо знаком, и мне претило пожимать ему руку. Большинство моих приятелей делало бы это, наоборот, с самодовольной иронией. Но правила нашей семьи в таких вопросах были очень строги. Отец женился по расчету, однако брак этот, как часто случается, преобразился в брак по любви. Отец был счастлив на свой лад — молчаливо и сурово. У него никогда не бывало любовных приключений — во всяком случае, со времени женитьбы: однако, казалось мне,

он не чужд был романтики, и я смутно предчувствовал, что если бы мне посчастливилось встретить женщину, хоть немного похожую на мою Амазонку, я стал бы таким же счастливым и верным супругом, как и он.

IV

Зимой 1909 года я дважды болел бронхитом, и в марте врач посоветовал отправить меня на некоторое время на юг. Я решил съездить в Италию, которой совсем не знал. Я побывал на северных озерах, пожил в Венеции, а последнюю неделю решил провести во Флоренции. В первый же день в гостинице, за соседним столом, я заметил девушку ангельской, эфирной красоты и не в силах был отвести от нее взор. С нею находилась молодая еще мать и довольно пожилой мужчина. После обеда я спросил у метрдотеля, кто такие мои соседки. Он ответил, что они — француженки, фамилия их — Мале. Их спутник, итальянский генерал, не живет в нашей гостинице. На другой день, во время завтрака, их столик пустовал.

Я привез с собою рекомендательные письма к нескольким флорентинцам, в том числе к профессору Анджело Гуарди, искусствоведу, издатель которого был моим клиентом. Я отправил ему письмо во Фьезоле и в тот же день получил приглашение на чай. У него на вилле, в саду, я застал человек двадцать гостей, среди которых оказались и две мои соседки. На девушке было платье из сурового полотна с синим матросским воротником и широкополая соло-

менная шляпа, — и она показалась мне столь же прекрасной, как и накануне. Я вдруг оробел и поспешил отойти от группы, где она находилась, с тем чтобы побеседовать с Гуарди. У наших ног протянулись шпалеры роз.

— Этот сад — мое детище, — сказал Гуарди. — Десять лет тому назад весь участок представлял собою просто лужайку. Вон там...

Он повел рукою; следуя за его жестом, я встретил взгляд мадемуазель Мале и с удивлением и радостью заметил, что он обращен на меня. Это длилось какое-то неуловимое мгновение, но взгляд ее явился как бы цветочной пылью, несущей в себе неведомые силы, из которой родилась моя самая великая любовь. Этот взгляд дал мне понять без слов, что она позволяет мне держаться непринужденно, и при первой же возможности я подошел к ней.

— Какой дивный сад! — сказал я.

— Дивный! — воскликнула она. — Кроме того, здесь, во Флоренции, мне особенно нравится, что отовсюду видишь гору, деревья. Я не выношу городов, где только город и больше ничего.

— Гуарди говорит, что за домом тоже прекрасный вид.

— Что ж, посмотрим, — весело подхватила она.

Мы оказались перед густой завесой кипарисов; посредине она была прорезана каменными ступенями, которые вели к гроту со статуей. Дальше, слева, была площадка, откуда открывался вид на город.

Мадемуазель Мале оперлась возле меня на балюстраду и долгое время молча смотрела на розовые

купола, на широкие, почти плоские флорентийские крыши и раскинувшиеся вдали синеватые горы.

— Какая красота, — прошептала она наконец в восторге.

Изящным, почти детским движением она откинула голову, словно для того, чтобы вдохнуть в себя этот дивный ландшафт.

С первого же нашего разговора Одилия Мале стала относиться ко мне с непринужденной доверчивостью. Она рассказала, что ее отец — архитектор, что она очень гордится им, что он остался в Париже. Ей досадно видеть около матери этого генерала в роли услужливого поклонника. Не прошло и десяти минут, как мы пустились в откровенности. Я рассказал ей о моей Амазонке, о том, что не почувствую вкуса к жизни, пока мне не будет служить опорой могучее, глубокое чувство. (В ее присутствии мои циничные теории мигом разлетелись в прах.) Она мне поведала, что однажды, когда ей было тринадцать лет, ее любимая подруга, Миза, задала ей вопрос: «Если бы я тебя попросила, бросилась бы ты вниз с балкона?» — и в ответ она чуть было не ринулась с четвертого этажа. Эта история привела меня в восторг.

Я спросил:

— Вы много бываете в церквах, в музеях?

— Много, — ответила она, — а больше всего я люблю бродить по старинным улицам... Но мне неприятно гулять с мамой и ее генералом, поэтому я встаю очень рано... Хотите пойти со мной завтра утром? В девять часов я буду в вестибюле гостиницы.

— Конечно хочу... Надо попросить у вашей матушки позволения сопровождать вас?